

Марко  
Вовчок

Маруся



ІНСТИТУТКА

*Марко Вовчок*

Марко Вовчок

**Маруся. Інститутка (збірник)**

«Фолио»

## **Вовчок М.**

Маруся. Інститутка (збірник) / М. Вовчок — «Фолио»,

Марка Вовчка (літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської, 1833—1907) справедливо називають літературною донькою Т. Шевченка. Твори письменниці відіграли провідну роль у становленні української реалістичної прози. Найвищого мистецького рівня вона досягає у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки, яка в тогочасному суспільстві зазнала найбільшого приниження й безправ'я. Цей образ посідає центральне місце в багатьох оповіданнях письменниці. До видання увійшли твори письменниці, написані російською мовою (оповідання «Маруся»), а також народні оповідання «Отець Андрій», «Інститутка» й «Максим Гримач». Повесть «Маруся» – на русском языке.

© Вовчок М.

© Фолио

## Содержание

Маруся	5
I	5
II	7
III	9
IV	12
V	14
VI	16
VII	19
VIII	21
IX	25
X	28
XI	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Марко Вовчок

## Маруся. Інститутка (збірник)

### Маруся

#### I

То, что я расскажу вам, деялось давным-давно на Украине, в самой глуши, и до сих пор по свету еще не разнеслось. Старушка, которая мне рассказывала, уверяла, что будто в глуши есть немало честных великих дел, все равно как пышных цветов. И говорила старуха, – а она была очень стара, прожила немало на белом свете, много кое-чего повидала и много кое-чего поиспытала, – ничто в мире не может сравниться с этими, в тиши растущими, цветами, ни с этими, в глуши таящимися, делами. Века идут, проходят, говорила она, а всегда одинаково пышные, свежие цветы радуют взор своею прелестью, а тихие великие дела сладостно смягчают сердце человеческое.

Давным-давно на Украине стоял хутор, а в этом хуторе жил козак Данило Чабан с женою и с детьми.

Хутор этот, где они жили, таков, что лучшего не пожелал бы себе самый прихотливый человек. Достался он Данилу, перешед через руки Бог знает скольких прадедов и прабабок, а ведь известно всякому, что где поселится украинец с украинкою, там сейчас же зацветет вишневый садик около белой хатки, заблагоухают всякие цветы, разбегутся извивчивые тропинки по степи и по роще и раздадутся мелодические песни, – так можете вы себе представить, что за сад это был, взлелеянный столькими поколениями Чабанов, каково обилие цветов, сколько избранных местечек и в степи, и в лесу, и на лугу по соседству, и что за богатство песен.

Кроме того, сам Бог счастливо поместил этот хутор между степью и лесом, рекою и лугом, горою и долиною: с одной стороны степь убегала из глаз, зеленая, безбрежная, пахучая, волнующаяся переливными волнами зелени; с другой стороны возносились горы, то убранные в деревья, в мягкую мураву, то каменистые и обнаженные. Прелестная долина, совсем уединенная, без следов и дорог, как-то блаженно цвела себе с третьей стороны – а с четвертой катилась река, то по лугу, вровень с мягкими берегами, отражая в своих водах одно небо с его светилами да гирлянды гибких камышей, то вдруг попадалась между двух скалистых утесов и шумела под их громадною аркою.

Боже! как хорошо бывало в летнее утро, когда солнце всходило, луг сверкал под росистыми каплями и выпархивали птицы, притаившиеся в камышах, и легкая пелена тумана качалась над рекою! Боже! как сладки бывали в безмятежной долине, при первых лучах солнца, первые утренние благоухания трав и цветов! А освеженные ночью тишиною горы, позлащенные утренним светом и блеском! А тихо шелестящие леса! А степь безграничная, вся в тенях и разливах света!

Это утро, – а день какой! День, когда все в природе проснулось, живет в полном разгаре света, жизни и деятельности! Как шумели тогда свежие леса и как сияла безмятежная долина! Как нежила роскошная степь, и что творил с человеческою душою ропот глубокой реки, соединенный с трепетом звонких камышей!

А вечер? Тихий, розовый вечер, обнимающий землю темнотою и прохладю! А выступающие звезды и всходящий месяц – полоса лунного света по темной степи, – часть лесной опушки, посребренная сиянием, – чашечки ночных цветов в долине, мягко освещенные лунным лучом, – сверкающие из речной глубины и струящиеся в текущих струях звезды, одна

гора, вся помраченна, друга вся посветлевша, и ясный огонек в хатке, потонувшей в середине цветущего сада!

И кроме этого благодатного соседства мягкого луга с глубоководною рекою, величавых гор и цветущей долины, шумящего леса и волнующейся степи, было еще доброе соседство хороших людей козацкого рода.

Каждый праздник уж непременно или сами Чабаны выбирались в гости, или надо было им приглядываться и узнавать, кто это подвигается по степовой дороге к хатке: Семен ли Ворошило или Андрий Крук; или надо было выходить навстречу, заслышав по долине звонкий говор веселой и миловидной девушки Ганны, появляющейся впереди других девушек и молодлиц, в исполинском ярком, только что по дороге сплетенном, венке на головке; или надо было ждать на берегу, пока приближалась утлая лодочка Ивана Грима.

Да что проку перечислять всех друзей и приятелей, и к чему рассказывать все их увеселения и забавы, приятные встречи, дорогие свиданья, ласковые расставанья? Вчуже самая милая забава может показаться самою скучною, самая большая радость непонятною – это известно, и известно тоже, что иногда никакие заманчивые игры и ликованья не сравнятся с тихою беседою добрых знакомых людей, и никакие краснобайчивые речи не заменят молчаливого сообщества надежного, верного друга. Мне кажется, лучше всего будет просто сказать, что на хуторе житье было очень хорошее, такое хорошее, что никому и в голову не приходило его в чем-нибудь изменить, ни у кого не являлось желания чем-нибудь его украсить.

Но жизнь человеческая, как говорится, не прямоезжая ровная, гладкая дорога. Ох, сколько рытвин, пропастей и всяких напастей!

И вот по Украине стали носиться недобрые слухи, а что еще и того хуже, стали твориться недобрые дела. Чем цветок душистее и свежее, тем быстрее протягиваются руки к цветку, и «за его прелесть срывают его», – хороша была Украина, и вот татары и прочие разные враги льнули к ней и раздирали ее, соперничая друг с дружкой в обмане, ненасытности и предательстве.

Много было кровавых, грозных сеч, трудных переворотов, печальных и ужасных событий, – о них долго бы рассказывать.

При Богдане Хмельницком, – я надеюсь, что вы все слышали и знаете немножко, что за гетман был Богдан Хмельницкий? – при Богдане Хмельницком Украина как будто приотдохнула, но после его смерти такие смуты опять наступили, такие беды, что, говорят, тогда самые грозные глаза плакали и самые мудрые головы кружились.

Народ украинский разделился на партии: кто стоял за великороссов, кто за поляков, кто за дружбу с татарами. Как всегда почти, к сожалению, бывает, к общим делам примешались частные делишки, возникли ссоры, распри и в конце концов вышло по пословице: запрягли-то и прямо, да поехали криво.

## II

Раз ввечеру собрались гости у Данилы Чабана. Вечер был тихий, темный, гости были задумчивы и смиренны, хозяйева не хлопотливы и не веселы. Больше менялись взглядами, чем словами. Всех, кажется, занимали одни и те же мысли, всех тяготили одни и те же заботы. Изредка обращались к Андрию Круку с вопросами о городе Чигирине, и если речь велась, то велась она все о том же городе Чигирине.

Видно было, что Андрий Крук хорошо знал этот город: он отвечал без запинки и точно рисовал своим рассказом и стены Чигиринские, и улицы, и крепостные валы.

Женщины тоскливо прислушивались к мужским разговорам, а когда разговоры эти умолкали и клубы дыма начинали обвивать усатые лица, они тихо перешептывались. В их шепоте все слышалось о разных битвах, о спаленных городах, о разоренных селах, о павших в сече людях. Беспреданно женские лица бледнели, беспреданно слезы сверкали на глазах.

Одна старуха сидела, точно изваянная, неподвижно, изредка только, когда все умолкали, она, как бы очнувшись, говорила:

– Мои оба пошли. Я сама снаряжала!

– Твой тоже ушел? – тихо спросила одна молодая девушка, судя по бледности лица и лихорадочному оживлению, сама недавно проводившая «своего», у подруги.

– Ушел. Вчера ввечеру мы...

Она хотела что-то рассказать, но губы у нее задрожали и помертвели – она ничего не рассказала, и подруга ее больше не спрашивала.

Дети не возились, не резвились, а ютились где-нибудь в уголку и, с омраченными личиками, тоже думали свои думы, или, усевшись около стариков, настораживали ушки и, казалось, ловили все взгляды и запоминали все слова.

Одна только крошечная гостья, с белокурою головкою, с огромнейшими блестящими глазами и с яркими губками, была совершенно предана своему делу: от усердия и заботы она даже высунула остренький язычок и, сбочив головку, вязала какие-то снопики из травы.

Все больше вечерело и в хате все больше утихало. Уже крошечная гостья, выпустив из рученок снопики, сама снопиком лежала около ног матери, объятая крепким сном, завесившись спустившимися прядями светлых кудрей.

Было темно на дворе, и стало очень тихо в хате.

Вдруг постучались в хатное окошечко...

До того это было неожиданно, что сначала никто не поверил своим ушам. Но стук повторился опять и опять, и повторился очень отчетливо, ясно, громко.

Хозяин поднялся с своего места и пошел отворять двери; его гости и приятели раскурили с прежнею невозмутимостью трубки; женщины заволновались, дети встрепенулись.

Данило приотворил двери и спросил, кто стучится. Ему ответил такой голос, от раскату которого запело хатное окошечко, что прохожий-де человек, усталый странник, просит позволения отдохнуть у ласкового хозяина.

Данило на это ответил: «Милости просим!» и, распахнув двери настежь, пригласил странника войти.

В распахнутые двери ворвалась струя пахучего вечернего воздуха и на мгновение сверкнуло несколько слабосияющих звезд, потом двери заслонила собою исполинская человеческая фигура, во всех углах отдалось и прогудело: «Помогай Боже», и, низко наклонив голову, боком пронесши могучие плечи, вошел в хату странник.

Будь в хате люди с более шатким, с менее невозмутимым нравом, они наверно бы потерялись и не знали бы, как принять этого странника. Хотя на Украине не в диво могучая и блистательная козацкая красота, не скоро бы, однако же, нашелся ровня вошедшему к Даниле

Чабану страннику. Этот высоченный рост при удивительной стройности и змеиной гибкости, это загорелое суровое лицо с огненными очами, чуткость и вниманье ко всему, и, вместе с тем, свободное, невозмутимое спокойствие хоть кого заставили бы вздрогнуть.

Но в хате у Данилы собрались все люди неподатливые на переполохи, и потому усталый странник был принят, как подобает усталому страннику: его приветливо просили садиться и радушно угостили чем Бог послал.

Странник отличался и простотою, и скромностью, и добротчином, и благоприличием. Как человек переходной и никому здесь не известный, он себя вовсе и не выдвигал на вид и напоказ, а также не впивался он любопытными взглядами во все уголки хозяйской хаты, не выводывал хитрыми, не выпытывал ветренными вопросами о житье-бытье хозяйском, – вовсе нет. Ничуть. Странник, если вел речи, то все вел речи общие, всех тогда занимавшие и волновавшие: о неприятельском хищничестве, о разорении и опустошении Украины, о виденных им по пути грабежах и буйствах; спросил хозяина, мирно ли пока у них и безопасны ли окружные дороги.

Хозяин и хозяйские гости, с своей стороны, показали себя примерно: глядя на такого странника, верно, им приходили в голову вопросы, от которых до смерти чесался язык: откуда он, странник, явился и куда путь держит? Сколько он перешагнул гор и долин, пока утомил свои мощные члены? По обету ли странствует он, по нужде или по прихоти? Где он родился и крестился, что говорит о неверном турке, как о не раз ловленном звере, о поляках, как о не раз испытанных панах, о москалях, как о не раз изведанных боярах? Знает он, кажись, немножечко и Сечь Запорожскую, повидал и всю Украину из конца в конец.

Но никто не побеспокоил странника, а себя не унижил ни лукавым, ни прямым вопросом. Разговаривая, только глядели на него, на его сельскую одежду, да соображали про себя, где та мирная нива, возделанная его руками, на которой он приобрел себе шрамище через всю щеку, от горбатого носа до чуткого уха.

Однако чем дальше шла беседа, тем странник становился разговорчивее; вероятно, ободренный общим вниманием и безмолвным участием, он принялся описывать с такою живостью и яркостью недавние битвы, что все притаивали дыханье, точно присутствовали сами зрителями при настоящих сечах. На вид невозмутимые козаки воспламенились; женщины вскрикивали и плакали; дети, потеряв всепобеждающий сон, с полуотверстыми ротиками, с широко раскрывшимися глазами, не шевелились на своих местах, словно зачарованные.

Вдруг резко раздались два пистолетные выстрела один за другим. Все в хате смолкло и наострило слух. Выстрелы прокатились откуда-то из степной дали, и прежняя безмятежная тишина наступила. Молчание длилось, но больше ни единого звука не донеслось, кроме веянья душистого воздуха в цветущих ветвях сада, обступавшего со всех сторон хату.

– И до вашего хутора долетает голосок! – проговорил странник.

– Это никак с Чигиринского шляху? – промолвил Андрий Крук.

– Слышно отовсюду! – сказал хозяин.

В это время женщины стали тихо прощаться с хозяйкою, собираясь по домам. Иные вели, иные несли детей. Между женщинами были и старые, и молодые, и совсем юные, но все их разнородные лица, когда яркий свет осветил их при прощаньи, выражали тысячью разнородных выражений одну и ту же непреклонную волю, которая огненными чертами отпечатлевалась на лицах мужчин. Потопленная в душистоцветущем саду хата, где трепещущий свет каганца отбрасывался на усатых лицах, на пороге полуоткрытой двери фигура хозяина, провожающего глазами удаляющиеся фигуры гостей, тихо исчезающих по окружным тропинкам, двор, соединяющийся со степью, нигде заборов, ни оград, кроме шелестящих деревьев – это представляло, казалось, мирную сельскую картину, но, вместе с тем, картина эта тоже дышала, если можно так выразиться, какою-то особою, безмолвною и тихою, но грозною силою.

Из гостей остались только Андрий Крук и Семен Ворошило.

### III

– А какво теперь пробираться к Чигирину? – спросил странник, понижая голос, как человек невольно делает в опасные времена, заводя речь о чем-нибудь для себя важном.

– Да трудненько, – отвечал хозяин. – Повсюду польские отряды...

Хозяйские приятели безмолвно выпустили из уст по огромному клубу дыма, причем слегка приподнялись их густые брови, и все это вместе без слов красноречиво выразило, что мнение их совершенно согласно с мнением хозяина.

Глаза странника устремились на собеседников и переходили с одного невозмутимого лица на другое.

Один взгляд этих огненных, зорких глаз говорил, сколько пережито уже им опасностей, сколько перебыто трудностей и каков есть навык к встрече с бедою, какова ловкость в борьбе с напастью.

– А мне путь прямо в Чигирин, – сказал странник.

– Теперь туда прямо и ворона не пролетит, – заметил Андрий Крук.

– А далеко до Чигирина? – спросил странник.

– Лучше б далеко – да легко, а то близко, да склизко! – отозвался Ворошило, а Андрий Крук пристальней поглядел на странника, а хозяин на Андрия Крука.

– Нашему брату, страннику, не разбирать дорог, – отвечал странник, – хоть часом дорожка лежит и докучненькая, а берешь ее... Отрада, если добрый товарищ встретится, панове! Я скажу вам, был у меня добрый товарищ – была у меня с ним и добрая рада, и щирая правда!

При последних словах странника что-то особое мелькнуло на лицах его слушателей.

– Конечно, – сказал хозяин, – доброе братство лучше великого богатства!

– Хороши у поляков паны, у турок султаны, у москалей ребята, а у нас братья! – сказал Андрий Крук.

– Да не всякого пана познать по жупану! – сказал Ворошило.

– Плохой тот поп, что угадывает праздники тогда, когда минули! – отвечал странник, обводя их своими искрометными глазами.

Ему отвечали не менее говорящими взглядами.

Несколько времени длился этот немой разговор, но до того красноречивый, что после него и слов не понадобилось: друг друга признали.

– С Сечи товарищи поклон шлют! – сказал странник, – а меня послом в Чигирин.

– Мы вам верные друзья и слуги! – ответили ему козаки в один голос.

– Что нового? – спросил сечевик.

– Да один поладил было с Москвою, а другой с Польшею переговаривается, турков на помощь призвал. Тяжкие времена!

Глубокое уныние омрачило козацкие лица. Горесть, прикрытая наружною безмятежностью, вырвалась наружу и высказалась во всей своей мощи.

– Мне надо пробраться в Чигирин, – сказал сечевик после некоторого молчания.

– Все дороги перерезаны.

– А Гунин ход?

– У них в руках!

Сечевик призадумался, но видно было, что его не обманутая надежда огорчала, не пугала трудность, а что он просто прибирал в уме новые средства и способы, как лучше достичь предположенной цели.

– Слушайте, товарищи, – сказал он, подумав, – мне надо пробраться в Чигирин до Петра Дорошенка. Дело идет тут не об одной голове, а идет дело об целой Украине... Если опоздаю в Чигирин, то...

Тут сечевик оглянулся на все стороны.

Хозяйки не было в хате, дети послули сидя, и он уже хотел было продолжать свою речь далее, как вдруг встретил устремленные на него глаза, словно два огромные алмаза, горящие участием и вниманием. Глаза эти сияли из темного неосвещенного угла хаты, и только всмотревшись хорошенько, сечевик распознал уютившуюся там грациозную фигурку девочки, неподвижно рисовавшуюся в тени: как она оперлась на сложенные ручки, вытянув головку, устремив глаза, так и замерла, словно заслушавшись.

– Это моя маленькая дочка, – сказал хозяин, оглянувшись по направлению глаз сечевика. – Маруся, подойди сюда!

Маруся подошла к отцу. Свет ярко ударил ей прямо в личико и рассыпался по всей ее стройной фигурке. Это была настоящая украинка-девочка, с темными бархатными бровями, с загорелыми щечками, в вышитой рубашке с широкими рукавами, в синей запаске и в червонном поясе. Густые русые волосы, сплетенные в косы, и в косах слегка кудрявились и блестели, как шелк. На головке был веночек цветов, из которых иные уже поувяли, иные еще сохраняли свою свежесть и слабо пахли.

– Маруся! – сказал отец, – что ты слышала из нашего разговора?

– Все, – отвечала Маруся.

– А что?

Марусины глаза обратились на сечевика.

– Надо в Чигирин, – промолвила она, – надо до пана гетмана...

– Слушай, дочка, – сказал отец медленно и тихо, – что ты слышала, не говори ни одной душе живой, как будто бы ты и не слыхала. Понимаешь?

– Понимаю, тато! – отвечала Маруся.

Отец не повторил наказа, и Маруся не давала никакого обещанья, но в непоколебимой верности девочки никто не усомнился.

– Не надо тебе слушать наших речей, Маруся, – сказал Данило. – Поди, покличь мать из саду, скажи ей, что братья послули.

Маруся покорно пошла к двери, но в эту минуту вдруг послышался лошадиный топот; скакал как будто целый отряд конных, слышались разнотонные крики грубых голосов, и бледное, как смерть, лицо хозяйки показалось в дверях.

– Скачут конные... отряд... – проговорила она. – Прямо к нашей хате... вот они...

– Пропало все дело! – глухо воскликнул Данило.

Сечевик уже был на ногах и держал в руках шапку. Козаки стояли молча. Суматохи не было ни малейшей, но видно было, что мысли страшно работали в каждой голове и что тысячи планов и намерений перевертывались у всякого в уме.

Хозяйка затворила дверь со двора в сени и из сеней в хату и стояла, не сводя глаз с мужа, в ожиданьи приказанья и распоряженья.

Около нее, так же бледна и в таком же смятении, стояла Маруся.

– Вы спите! – проговорил Данило, обращаясь к козакам. – Ты работай, шей! – сказал он жене. – Я пошел к товарищу еще засветло... Козаки пришли волов поглядеть, торгуют у меня...

– Есть выход из светлицы в степь, – обратился он к сечевнику, – иди за мною!

Все это было быстро сказано и вслед за сказанным исполнено быстрее, чем можно расказать словами.

В одно мгновение оба козака лежали на лавках, погруженные в завидный сон, подложив под головы люльки и шапки; свет играл на их лицах, нисколько не тревожа их крепкого сна,

дыханье их было так мерно, что по нем можно было, как по часам, считать время; хозяйка сидела за работою, Маруся тоже, и обе прилежно погрузились в мудрости узорчатых рукавов.

Данило с сечевиком быстро перешагнули темные сени, отворили и затворили за собою дверь светлицы.

## IV

Между тем прискакавший отряд был уже у крыльца; храпенье лошадей, переговоры всадников отчетливо были слышны в хате; потом несколько человек спешилось, потом раздался наглый стук в двери и грубый голос закричал:

– Эй, вы!.. отворяйте!

Не успела хозяйка встать и спросить, кто там, как двери чуть не слетели с петель от повторного стука и разбитое стекло со звоном посыпалось в хату вместе с вышибленной рамой. Жесткоусая, широкоскулая образина заглянула в окно, быстро, недоверчиво и подозрительно все обозрела и крикнула:

– Чего не отворяешь?.. Чего не отворяешь?..

Хозяйка выпустила из рук работу, но еще стояла на одном месте в нерешимости.

– Отворяй! – закричало вдруг несколько угрожающих голосов, и двери так задрожали под ударами, что вся хата содрогнулась.

Хозяйка отворила дверь. Ватага иноземных солдат ворвалась в хату и с шумом и гамом кинулась шарить по всем углам.

Хозяйка, собрав около себя маленьких детей, внезапно разбуженных, пораженных страхом и изумлением и жадно следящих за всею суматохою глазами, полными слез, стояла в стороне и бесстрастно глядела, как все ее домашнее убранство, вся ее хозяйственная утварь валилась, билась и уничтожалась.

Между тем, как одни пристали с допросами к Андрию Круку, который зевал во весь рот вместо всякого ответа и, словно опьянелый от сна, качался из стороны в сторону, как качается свитка, перекинутая через жердь в ветряную погоду, другие толкали под бока Семена Ворошила, который приподнимался, взглядывал на них, принимал их то за кума Герасима, то за кума Евдокима и опять падал на лавку, точно подстреленный.

– Это он! Он самый!.. Нет, не он!.. Нет, он!.. – кричала военная ватага, споря между собою и теребя обоих козаков.

– Где хозяин?.. Подавай хозяина! – кричал, выходя из себя, начальник, по-видимому, ватаги.

– С утра к приятелю ушел в гости, – отвечала хозяйка.

– В гости?.. Дам я вам гости! Изменники! Мятежники!.. Что это за люди?

И он, вместо указки, ударил со всего размаху нагайкою прежде Крука, потом Ворошила, и с таким видом подступил к хозяйке, что она подалась назад, как перед рассвирепевшим зверем.

– Знакомые люди, – отвечала она, после этого невольного движения снова одолевая свое смятение. – Они пришли волов торговать у нас, – ожидают мужа.

– Так, так, ваша милость, – отозвался Андрий Крук, вставая и отряхивая, по-видимому, последние грезы, – мы пришли волов торговать и не застали хозяина. Что ж, говорю я куму, – вот ему, – объяснил он, указывая на Ворошила, который тоже отряс грезы и смиреннейше поводил глазами по всем лицам, избегая встречи с устремлявшимися то на него, то на Крука со всех сторон взглядами. – Что ж, кум, говорю я ему... Нету, кум, хозяина дома, а?.. Нету – так нету. На нет и суда нет...

– Перестань болтать, глупый мужик! Хитрецы! Предатели! Знаем мы вас! Перевязать их! – крикнул он своим, и те в ту же минуту бросились на козаков, словно коршуны.

В это самое время дверь отворилась, и в хату вошел Данило.

– Кто такой? – закричал начальник, бросаясь на него.

– Да когда-то люди здешним хозяином звали, – отвечал Данило.

– Гей! вы! Стоит ли караул около двора? Не дремать! слышите?

– Если ты дорожишь своею жизнью, – начал он, обращаясь к стоявшему перед ним Данилу, – отвечай мне сейчас же без уверток: где мятежник-запорожец? Отвечай прямо!.. Или я тебя сотру в порошок.

Все это было сказано надменно и крикливо. Данило поглядел на стоявшую перед ним довольно тучную фигуру, едва достающую ему по плечо козацкое, и ответил спокойно:

– Не знаю никакого мятежного запорожца!

– Я хату твою испепелю! Я у тебя бревна на бревне не оставлю! Слышишь?

– Ваша воля и ваша сила! – так же покойно отвечал Данило.

– Да не уйдет он от нас! Стоит ли из-за этого горячиться! – сказал другой, тоже, по-видимому, офицер, с самого своего появления усевшийся на лавке и куривший трубку с янтарным мундштуком. – Мы ведь почти с утра не ели! – прибавил он с протестующим, хотя кротким вздохом.

– Что есть съестного? – закричал гневный старшой, внезапно и яростно начиная кидаться из стороны в сторону и нюхать воздух. – Что есть? Подавай сюда! Живо! Подавай!

И он топал ногами и колотил своею саблею по столу.

– Жинка! – проговорил Данило, – поспешай с вечерею.

Хозяйка быстро принялась за сборы к угощению. Глаза ее обежали всю хату, все уголки, будто ища кого-то, и, казалось, некоторая тревога промелькнула на ее бесстрастном лице.

Она искала глазами Марусю и теперь только заметила, что девочка незаметно исчезла во время суматохи.

## V

Чудесная, темно-голубая, прозрачная, теплая ночь таинственно звездилась, когда Маруся поспешно выскользнула из хаты, проползла под кровом стелющихся по земле ветвей цветущей калины и очутилась в саду. Тут ее скрыли кудрявые яблони и густые, как сеть, черешни.

Тут она стояла, унимая биение сердца. Каждая ее жилка билась, ноги подламывались под нею, мысли роились и мешались; какие-то сверкающие образы носились перед глазами, а из глаз струились горячие слезы, исторгаемые новою, дотоле неведанною сердечною скорбью, перемешанною с какою-то восторженною надеждою.

Свежий ночной воздух привел ее в себя, наконец, и слезы приостановились, и мысли приняли строй.

Все было вокруг так душисто, и свежо, и цветуще! Все так мило и близко душе! Вся преисполненная любовью и горем, она склонилась и жарко стала целовать травы, цветы, склонявшиеся ветви, обращая туда и сюда глаза свои, выражая всем существом своим и недоуменье, и беззаветную преданность чему-то, не совсем еще ясно усвоенному, уразумленному, но уже поглотившему всю душу.

Легкий шелест между деревьев обдал ее холодом и жаром. Она припала к земле, и ее белая фигурка утонула в белоцветущих ветвях.

Все снова затихло.

Она оставалась некоторое время неподвижна среди этого безгласного сада, под мягким светом и мерцанием звезд, при спокойном благоуханье цветов и трав – все было около нее тихо, и долетавшие со двора восклицанья резко дрожали в теплом воздухе.

Она уже хотела было отстранить прикрывавшие ее ветви, как снова легкий шорох, тот самый, что и прежде, пролетел, и как раз перед нею поднялась громадная фигура сечевика между двух высоких черешен.

Марусино сердце радостно вздрогнуло и, вслед затем, тоскливо и пугливо затрепетало.

Постояв несколько минут, сечевик двинулся дальше – видимо, он пробирался к выходу из сада со стороны реки. Исполинская его фигура была точно тень исполинская, так легко, так бесшумно и ловко скользила она между густо и тесно свивающихся черешен и кудрявых яблонь: ни шелесту не было слышно, ни колебанья не было видно.

Не отдавая себе отчета, почему и зачем, Маруся пробиралась следом за сечевиком, иногда только приостанавливаясь от сильного сердечного биенья и замиранья.

Так они оба минули весь сад, перебрались за ограду из живой вьющейся и ползучей зелени и очутились над рекою.

Река колыхалась в берегах с каким-то беспокоящим ропотом. Прибрежные камыши серебрились во мраке; золотые звезды мигали в волнах и сверкали в небе. У ракиты, потопившей нижние ветви в реке, привязана была лодочка, хрупкая и легкая, как скорлупка. Прилежащий луг, горы – все было преисполнено тишины, теплоты и прозрачной теплой мглы.

Тут сечевик снова остановился, посматривая во все стороны и соображая, как вдруг услышал за собою детский тихий голосок и в ту же минуту почувствовал прикосновение детских нежных ручек. Он обернулся, как человек, которого ничто не в силах ни удивить, ни поразить, и увидел перед собою Марусю.

– А что, дивчина? – спросил он ее так ровно, словно и в заводе не бывало никакого лиха, ни напасти.

Но Маруся не могла вымолвить слова и, только ухватившись за его руку, обращала к нему с мольбою глаза.

Однако эти глаза говорили так красноречиво и много, что сечевик погладил ее по головке. Что-то похожее на ласковую нежность, на сострадательное участие выразилось в его склонившейся фигуре.

– Можно пробраться в Чигирин! – вымолвила Маруся.

– Как же это можно, дивчино-порадонько?<sup>1</sup> – спросил он, слегка улыбаясь.

– У батька в степи стоит воз с сеном, – проговорила Маруся, – волы пасутся тоже в степи... Я все знаю, где что... Запряжем волов... Ложись в сено... Я повезу до Кнышова хутора... Там река... За рекою уж чигиринская сила!

Сечевик глядел в сияющие глаза, на трепещущую легкую фигурку, стоявшую перед ним, и слушал, как стучит маленькое сердечко. Он вдруг почувял, что его мужественное, закаленное сердце словно расплывается в груди и что-то такое чудное с ним сотворилось в тот миг, что и после он никак не мог рассказать хорошенько, а только задумывался, вспоминая.

– Кто это тебе такую мысль подал, Маруся милая? – спросил сечевик.

– А я знаю сказку, – отвечала Маруся, – как девушка от разбойников бежала.

– А Расскажи мне эту сказку, Маруся, – сказал сечевик.

– А до Чигирина? – робко спросила Маруся.

– А до Чигирина поедем, – отвечал сечевик, будто сулил ей пряник. – Ведь мы, надо полагать, взявши берегом в эту сторону, проберемся в степь?.. Проберемся? Ну, и ладно! А дорогою сказку послушаем.

Рука с рукою они начали пробираться берегом со всевозможной осторожностью.

Сначала до них долетали шум и голоса с Данилова двора, но потом их окружила совершеннейшая тишина, какая только бывает в ночную пору на пустынных берегах вод, когда самые переливы и всплеск волн только увеличивают, а не нарушают безмолвие.

– А ну, рассказывай сказку, Маруся, – сказал сечевик, только что они ступили шаг.

Много тревог, много надежд и страхов волновало Марусю, и она поглядела на сечевика с тоскливым недоумением; сечевик глядел на нее и усмехался. Даже при неверном мерцающем свете ночных светил столько виделось в нем чуткости, мужества, таким чародеем глядел он, что вдруг у Маруси отлегло от сердца и исчезла вся трепетная суетливость.

– Ну, начинай, Маруся милая, начинай! – сказал сечевик. – Я страх как люблю сказки слушать.

---

<sup>1</sup> Словопорадонько можно перевести русским советный друг. (Примітки даються за повною збіркою творів, Саратов, т. II, 1896 (Ред.).)

## VI

Маруся начала:

– Жил был козак и отдал свою дочку замуж.

– Коли за доброго человека, то и с Богом! – заметил сечевик.

– Козачке не полюбилися жених, – продолжала Маруся, – да она покорила батьку, вышла замуж, и молодой увез ее в свою господу.<sup>2</sup>

– Бедная девушка! – заметил сечевик.

– Только чудная это была господа у молодого, – продолжала Маруся. – Стояла она среди дремучего лесу, и никуда дорог не было битых, ниоткуда никто не показывался – пустыня кругом. Очень затосковала молодая...

– Еще бы не затосковать! – заметил сечевик.

– И сначала ни на что она не глядела – все горевала, а потом с горя ко всему стала приглядываться и присматриваться... Все роскоши... только ей не нужны были роскоши, а захотелось ей узнать, куда муж ее всякий вечер уезжает с товарищами. Но как только они сядут на лошадей, так сейчас и пропадут в чаще, только минутку слышен конский топот, а потом все тихо и глухо...

Ходила она по всему дому, и от всего дома были у нее ключи. Только никогда муж не пускал ее в один погреб. Погреб этот стоял под густыми разметными дубами; дверь чернелась из-под зеленой листвы, точно звериная пасть.

– Что они такое прячут? – подумала молодая.

Подумала и сейчас к погребу. И видит на засове такой замок, что десятерым его не поднять.

Постучала в дверь, словно в камень – так глухо. Поглядела в щелочку – черно, как в колодце.

Вдруг из-под порога что-то блеснуло, как искорка. Она прилегла на землю. Что-то блестит!

– Что это такое? – думает она.

И хоть страшно, а просунула руку и схватила.

Чует что-то холодное. Глядь, а это отрубленный беленький мизинчик и на нем колечко.

– Дозналась я, – думает молодая, – ездят они на разбой.

А молодой был такой ласковый...

– Поди-ка узнай людей по виду! – сказал запорожец.

(А между тем ночь уже светлела. Передутренный ветерок пролетал по степи. Они все шли понад тихими берегами рука с рукой).

Стала молодая думать, что ей делать; так думала она, что у нее в голове шумело, словно у мельничного колеса. Кругом все чернели леса, такие сплошные, точно стены. Пустыня такая со всех сторон, что в ней только потеряться, а ни приютиться, ни выбраться в жилой мир.

Куда бежать?

Долго она думала и передумывала. Солнце уже закатилось, она все думает. Звезды высypали, а она все думает.

И слышит: едут!

Входит муж и рад ей.

– Я по тебе скучал! – говорит.

Протянул к ней руки, а она видит – на рукаве у него кровь!

– Что это на рукаве? – спрашивает.

---

<sup>2</sup> Господа – усадьба.

– А это я охотился за красным зверем, – отвечает и смеется.

Услыхали товарищи и тоже засмеялись.

Поглядела она на мужа – был он ей нелюбый, а теперь еще стал и страшный.

Поглядела она на его товарищей – ни одного хорошего лица нет!

Подумала, каково это жить с ними, и забыла все другие страхи, и положила убежать!

– Убегу, куда глаза глядят!

Сечевіку очень нравилась сказка: какие важные дела ни заботили его голову, он так глядел на Марусю и так улыбался, точно его сладким медом поили.

– Только дождалась, что все выехали из дому, сейчас она наглухо позатворяла и ворота, и двери, и окна и пустилась бежать по лесу.

Ни дорог, ни тропинок, никакого следа не было, только вечерняя звезда ей светила, и по ней она путь держала.

Целую ночь она все шла да шла, а лес все гуще да гуще, все сплошной да сплошной.

Вот чуть-чуть забрезжилась утренняя заря, и тихо-тихо пробирались в лес алые полоски. Она уже подумала, что с зарею ей веселей станет, как вдруг слышит, за нею погоня, и все ближе, все ближе. Ветки трещат, кони фыркают, мужнин голос грозит: найду! и его товарищи переговариваются: вот тут она! вот там она!

Поглядела она туда и сюда – нет нигде приюту!

Только одно дерево стоит косматым шатром; она поскорей кинулась к тому дереву, взобралась на самую верхушку и притаилась.

Да в поспехе она уронила платок с шеи, и как погоня ворвалась на это место, сейчас они все и увидели белый платок на земле...

– Ай-ай! – сказал сечевик с живостью.

– Сейчас все закричали: «Ее платок! ее платок! она тут! она недалеко! она в эту сторону бежит!»

И начали искать, шарить, саблями ветви рубить, конями кусты топтать.

А муж и говорит: «Не забралась ли она куда на дерево?»

Схватил свою пику и со всей руки почал ею колоть промежду ветвей.

– Ай-ай! – сказал сечевик. – Бедная молодлица! натерпелась же она лиха!

Вдруг острое копьё вошло ей в бок, потом попало в руку, потом тронуло плечо – она не вскрикнула, не ахнула, да теплая кровь так и закапала, так и закапала с дерева...

Сечевик совсем разжалобился над бедною молодницею; охи и ахи его были самые жалостливые.

– Капельки ее крови попали прямо на голову мужу. «Ох, какая теплая роса каплет с этого дерева!» – сказал.

– Видно, она пробежала дальше, – говорят ему товарищи. – Дальше в погоню за нею!

И все рассыпались между лесною гущиною.

А она тогда тихонько слезла с дерева и опять пустилась бежать.

Долго она бежала, очень долго, и выбежала на дорогу, и видит, едет по дороге старый козак и везет воз с сеном. Кинулась она к козаку и начала его просить: «Возьми меня, добрый человек, схорони меня где-нибудь! За мною погоня! Меня поймать и убить хотят!» – А козак ей говорит: «Да вот я везу сено; ложись на воз, закопайся поглубже, да только лежи смирно!»

– Бравый козак! дай ему Боже здоровья чорзнапоки!<sup>3</sup> – сказал сечевик с удовольствием.

– Только успел старый козак закопать ее в сено да махнуть на волов батогом, а тут и наскочила погоня.

– Не видал ли молодлицы? – кричат козаку. – Куда она побежала?

– Не видал, – отвечает козак.

---

<sup>3</sup> Чёрт знает, до коих пор.

– А что ты везешь?

– Сено везу.

– Хорошее сено у тебя? А ну, удели-ка немножко нашим коням.

Козак остановил воз и накидал сена их коням.

– А у тебя, кажись, люлька не погасла? – спрашивает один разбойник.

– Нет, курится еще, – отвечает козак.

– Дай-ка раскурить.

Козак подал им свою люльку, и они начали друг дружке ее передавать да свои раскуривать.

А атаман ни люльки не раскуривает, ни коня своего не кормит, подошел к возу и приклонил к нему свою грозную голову, да все только глухо твердит: «Найду я ее! найду!»

А она все это слышит и даже его горячее дыханье чувствует.

Так время шло долго, пока товарищи закричали:

– Атаман! на коня! на коня! Уж день белеется!

И все они кинулись на коней и ускакали в темный лес...

А старый козак поехал дальше и довез молодницу до батькова двора.

– Пусть служит ей доля! – сказал сечевик. – Чудесная сказка, Маруся милая, и великое тебе спасибо за нее! Славная, славная сказка! Такая славная, что и не выразить словом!

## VII

Они ни на минуту не убавляли быстрого шагу и успели уже далеко уйти.

Заря еще не занималась, но мягкий, теплый ночной воздух уже посвежел; из далекого, невидного за неясными очертаниями дальних лесов, монастыря разносился слабый благовест; какой-то особый тихий звон пробегал по прибрежным камышам, и река, залившись далеко в мягкий берег сонною струею, возвращалась оттуда, словно внезапно разбуженная и взволнованная, катилась вперед и бурлила беспорядочно и шумно, потом все более и более унимала порывы волн и брызги и исчезала из глаз с глухим ропотом.

У этого залива они повернули.

Ни дороги не было, ни тропинки, но Маруся хорошо знала места и скоро вывела сечевика в чистую степь.

На них пахло сильным, крепким, трезвым ароматом свежескошенных степных трав и цветов от огромных, разбросанных по степи стогов сена; сечевик пристально оглянулся во все стороны. За собою невдалеке он увидел в полутьме жилые строения, укутанные в сень густых деревьев.

– Это наша хата, – сказала ему Маруся. – Загородь близко – впереди.

– Веди, Маруся, – сказал сечевик.

И хоть нигде поблизу не видно было и признака никакой загороди, он, нимало не сомневаясь, зашагал по легким следкам Маруси.

Не успели они сделать пяти шагов, как Маруся промолвила: «Здесь!», и они очутились над чем-то вроде обширной впадины посреди ровной степи, спустились в нее, и на самом дне сечевик разглядел вербовую загородь, а в ней две пары величавых круторогих волов, представлявших крутыми холмами на ровной поверхности.

Маруся отворила загородь и дрожащею рукою слегка погладила прежде одну, потом другую рогатую голову. Легкое ласковое мычанье было ей в ответ, и, будто уразумев, что самое главное теперь осмотрительность и тишина, волы, выведенные из загороди, пошли по степи, как тяжелые ладьи по тихим волнам – бесшумно, ровно и быстро.

Воз стоял неподалеку у стога, доверху уже наваленный сеном.

– Что? – спросила Маруся, видя, что сечевик остановился и глядит на нее.

– Какая же ты малая, Маруся! – промолвил сечевик. – Какая же ты малая! Всякий тебя скорее примет за степного жаворонка, чем за деловую особу!

И вправду Маруся не велика была, а среди безбрежной степи, у громадного воза, запряженного мощными волами, подле исполинского сечевика она казалась еще того крохотнее, еще хрупче и еще беззащитней.

– А вот мамин большой платок забыт у воза, – ответила Маруся. – Я его надену по-старушечьи и как сяду на воз, то покажусь старушкою...

И уже ее большие глаза глядели на сечевика из-под старушечьей повязки, под которою исчезла кудрявая светло-шелковистая головка и розовые плечики.

Сечевик не мог не улыбнуться и несколько минут не мог или не хотел промолвить ни одного слова.

Голос его был очень тихий, когда он снова заговорил:

– Ты хорошо знаешь шлях, Маруся?

– Знаю. Все прямо до озерца, а у озерца шлях повернет вправо и уже виден будет хутор пана Кныша, а за хутором уже вольный путь до Чигирина, сказывал пан Крук батьку...

– А ты знаешь пана Кныша?

– Знаю. Он ездит к батьку, разные разности покупает.

– А как он тебя, думаешь, примет?

– Не знаю, как меня примет.

– А как худо?

– Но он ведь не изменит?.. – и ответила и вместе спросила Маруся. – Он к батьку ходит... он приятель...

– А знаешь, Маруся, что теперь повсюду войска стоят, всюду враги шатаются? Знаешь, Маруся, что теперь, вместо цветов, должно быть, по обеим сторонам дороги дым клубится от стрельбы? Резня идет!

– Знаю! – отвечала Маруся.

– Будут глядеть недобрые вражеские глаза тебе в лицо, и если ты собьешься в одном словечке, если только дрогнешь – все пропало!

– Я не собьюсь в слове, не дрогну... Я не боюсь врага, а только боюсь неудачи.

– Маруся, знаешь, может, смерть нас постигнет...

– О, прежде до Чигирина тебе добраться! – промолвила Маруся.

И столько мольбы и решимости прозвучало в ее тихих словах!

На этом разговор у них прервался. Волы быстро были запряжены.

– Маруся, – сказал сечевик, – если кто тебя остановит, не падай около воза, как пташка около гнездышка... разумеешь?

– Разумею! Надо быть, как ты.

– Всем говори, что везешь сено пану Кнышу, а коли благополучно доберемся до Кнышова двора, то ты скажи тому, кто выдет навстречу: «Чудесные зелены у вас, хоть и неспелыми жать – так хорошо!» Слышишь?

– Слышу, – ответила Маруся.

Сечевик зарылся в громаду сена, наваленного на возу, Маруся заняла место возницы, волы тронули, и воз, пошатываясь и переваливаясь, потянулся по росистой степи.

Звезды уже начинали меркнуть; ветерок стал живее, и капельки росы виднее заиграли по траве.

## VIII

Тихо подвигался огромный воз по степной дороге; при свете меркнувших звезд мерцала степь, недавно скошенная и уже густо и мягко застлавшаяся новыми травами и цветами, усыпанная еще неувядшими стогами пахучего сена. Тихо подвигался огромный воз по дороге. Тихо было кругом, и два-три далеких крика, два-три далеких выстрела еще больше давали чувствовать эту тишину.

Перед Марусею вид расстилался во все стороны широко и далеко. Каждый легчайший звук уловляло ее чуткое ушко: и самонаименьший шорох трав, и шелест птичьих крылышек, и безустанно ее глаза обращались во все стороны и следили за каждою точкою.

Во тьме летнего рассвета неясно видно было ее личико, ничем не выражала она своих мыслей, ни чувств, но вся фигурка ее на высоте косматого зеленого воза говорила о ее неуспяной бдительности, о ее томительной тревоге.

Вдруг послышался топот многоконного отряда; справа показалась толпа верховых и неистово неслась прямо к Марусиному возу.

Несколько диких, охрипших голосов издали закричали ей:

– Стой! Стой!

Она остановила воз.

Мгновенно ее окружили, и грубые вопросы на чуждом ей наречии посыпались со всех сторон:

– Куда?.. Откуда?.. Чья ты?..

– Из хуторка, – отвечала Маруся. – Данила Чабана дочка. Везу сено в хутор Гоны, к пану Кнышу.

Успокоенные всадники раздались немного, и сиплый голос сказал с досадою:

– Ведь я же говорил вам, что фальшивая тревога, а вы полошитесь, как степная птица! Ну, где ж ваши польские шпионы?

– Да ведь никакой беды не случилось оттого, что мы проскакали полверсты в сторону? – возразил на это другой голос, явно принадлежавший молодому, подвижному и беспечному человеку.

– Когда в голове ветер ходит, так все не беда! – с неудовольствием проворчал первый.

Остальное ворчанье заглушил свист взмахнутой нагайки и топот рванувшегося вперед коня.

– Эк сердитый какой! – промолвил второй голос с легким смехом. – За мной, ребята. Воз захватите!

Отряд двинулся, и под его прикрытием двинулся Марусин воз.

Куда девочка ни обращала глаза, со всех сторон она видела около себя мрачные, зловещие фигуры, грубые, суровые лица; все ехали шагом и словно предавались отдохновению, погружившись в свои мысли и думы и на время отбросив свои сторожкие наезднические приемы. На иных лицах выражалось уныние, на других забота, или неугомонная отвага, или усталое равнодушие ко всему на свете.

Впереди гарцовали два офицера и, казалось, спорили.

Не слыша их слов, Маруся угадала веселого молодого по его живой, подвижной осанке, по его быстрому, словно дразнящим, движеньям около недовольного тучного товарища, казавшегося тяжелым чугунным слитком, мучительно подавлявшим нетерпеливого, горячего коня. Стараясь не проронить ни одной фразы, которыми изредка перебрасывались между собою в отряде, Маруся старалась тоже угадать, о чем спорят впереди гарцующие начальники – не об ее ли возе! Или они забыли о нем? И что будет дальше? И как ее встретит пан Кныш? И доедет ли она до пана Кныша? И удастся ли добраться ему до Чигирина?..

Тихо раскачиваясь и разваливаясь, подвигался воз. Последние ночные тени уже готовы были исчезнуть; предраассветная трезвая, проникающая свежесть уже чувствовалась; важные волю выступали теперь бодрее, муштрованные лошади, не изменяя привычного военного шага, жались ближе к возу и, вытягивая головы, с наслаждением выдергивали клоки пахучего сена.

Вдруг что-то заставило Марусю невольно обратить устремленные вдаль глаза налево, и она встретила испытующий, пронизательный взгляд других сверкающих глаз – взгляд, следящий за нею со вниманием и сомнением.

Около самого воза, касаясь его, ехал пожилой всадник. Глаза девочки, привыкшие к полутьме, хорошо различали каждую резкую черту его живого, смышенного лица. Он пристально глядел на нее, и без слов понятно говорил его взгляд: странна, однако, эта маленькая девочка! Чуден и тот, кто выбрал возницею эту хрупкую игрушку, возницею среди ночи, в смутные, ненадежные военные времена!

– У тебя, девочка, родной отец-мать или нет? – спросил он внезапно у Маруси и, видя, что она не понимает его слов, ломаным украинским языком перевел ей свой вопрос.

– Родной отец и родная мать, – отвечала Маруся.

Его взгляд впился в нее еще с большим сомнением и сделался еще пытливее и пронизательнее.

Марусе показалось, что какой-то ледяной покров обвил все ее члены и холод проник ей до самого сердца. Степь перевернулась у нее в глазах, словно небо в бурливых водах, и голова закружилась, но она помнила наказ сечевика и, желая быть как он, вымолвила ровным, хотя потерявшим все живые нотки, голосом:

– А у вас живы отец-мать?.. Много у вас родичей?.. Есть у вас дети? Дочки или сыновья у вас?..

Тихий ли сдержанный голосок, или простой вопрос разбудил заглушенные радости и сердечные печали, только сильно они проснулись и испытующее, наблюдающее лицо, исполнившее Марусю томительною тревогою, сделалось каким-то игралищем то омрачавших его теней, то освещавших его проблесков: воспоминанья, образы, сожаленья, опасенья, надежды, казалось, душили сильного человека, подступая живыми терзающими приливами. Странно смотрели теперь на Марусю эти подозрительные, прежде испытующие глаза, будто ища в ее образе какого-то другого, далекого образа, заставлявшего, может, когда-то улыбаться теперь дрожавшие губы.

– Да, у меня есть дочка, – проговорил он после долгого молчания.

– Большая? – спросила Маруся.

Он усмехнулся. Должно быть, перед его духовными глазами пронеслась очень маленькая, непрочная, хрупкая фигурка, судя по его несколько томительной улыбке.

– С тебя, коли еще не меньше, – ответил он и очень задумался.

Впереди гарцовавшие офицеры все спорили: одному не надоело подзадоривать, другому не опостылело ворчать; казалось, каждый поставлял в том свою забаву среди незанятой, дикой, скучной жизни.

Вдруг в задних рядах отряда кто-то вполголоса запел: «Вспомни, вспомни, моя любезная, нашу прежнюю любовь!», и Маруся, у которой каждый звук заронял вереницы видений о Чигирине, о пане гетмане, о нем, вся содрогнулась при звуках глухого, мощного голоса пожилого всадника, ее допросчика, тихо про себя подхватившего запетую песню. Пенье скоро перешло у него в какой-то страстный, горький шепот, между тем как запевало, видимо, увлекаясь, разливался все громче и такими волнами грусти и беспечности, сожаления и удалства, что мучительно задирали за живое. То тот, то другой голос подхватывал песню; наконец, все голоса дружно ее подхватили и слились в один гул, перекатами разносившийся по степи.

Когда песня стихла, вдруг заметили, что рассвело, точно рассвет выступил из-за внезапно распахнутой двери, а не разгорался мало-помалу. Невдалеке от дороги видно было тихое,

небольшое озеро, накинутое, словно дымчатою пеленою, утренним туманом; от озера вправо вилась мягкая черная дорога к хутору, над которым стояла тонкая прямая струйка дыма.

Это виднелся хутор пана Кныша.

Жутко было в полутьме теплой ночи, в полутьме утреннего рассвета, но при засиявшем блеске благодатного утра еще стало жутче. Веселое великолепие природы как-то чудно действовало на душу, то растравляя ее, то смиряя, то исполняя каким-то двухсторонним чувством – страха и надежды, которые схватывались и боролись, не одолевая друг друга, как борются между собою равно сильные и не сливающиеся огонь и вода.

Маруся искала глазами пожилого всадника, который отъехал от нее и замешался в толпу других, и ее глаза скоро отыскали его и встретились с его глазами. В его взгляде не было уже ни пытливости, ни пронзительной наблюдательности, – какая-то нерешительность, какое-то недоумение и опасение разлились по всем чертам его резкого, хищного лица и странно его смягчили.

– Господи ты Боже мой! экая мелкота! – сказал один из отряда, увидав Марусю при свете утра. – И едет себе как ни в чем не бывало: ни пороху, ни пули не боится.

– Да этакую малость ни одна пуля, надо полагать, не возьмет, – возразил другой. – Все одно, что маковое зерно!

– У них и девчонки не боязливы, – это уже такой народ, – вмешался третий. – Я, скажу вам, видал, что во время самой свалки, кровь хлещет, земля дрожит, и рубят, и мрут, а она себе ходит промежду да подбирает своих, словно по саду ягоды, ей-богу!

– Да и пропадает же их сколько! – сказал еще присоединившийся собеседник.

– Да все мы пропадем так или иначе, – ответил кто-то сбоку. – В том только и дело, чтобы пропасть самым лучшим манером! Вот что!

Издали пронеслось несколько выстрелов, и их звук, словно волшебством, в одно мгновение спугнул все иные мысли, все прочие чувства: овладевшее было раздумье, начатое рассуждение, полувывраженное мнение, невысказанное возражение, – все это прервалось, как перехваченная острыми ножницами нитка, и весь отряд вдруг превратился как бы в одно существо, чутко настожившее слух и готовое к отпору.

Офицеры тоже приостановили своих лошадей и перестали спорить и дразнить друг друга.

Выстрелы раздались снова.

– Это с нашей стороны! Нет сомненья, это с нашей стороны! – вскрикнул молодой офицер.

– Марш-марш! На выручку! Это наши дерутся! Гей, Иван, доставь воз до хутора и распорядись... Вперед!

Маруся еще не успела сообразить хорошенько, в чем дело, как уже отряд ускакал вихрем, и скоро исчезли из виду все, кроме Ивана, которому отдан был приказ «доставить воз и распорядиться». Словно дикие птицы, без оглядки все они снялись и улетели, только пожилой солдат, говоривший с нею, обернулся и еще раз глянул на нее.

– Трогай, трогай, каплюха! – проговорил Иван, раскуривая коротенькую трубочку.

Маруся поглядела на Ивана. Он ей представился чем-то вроде ежа.

– Трогай! трогай! – повторил он суровее.

Воз подвигался понемногу вперед, к Кнышеву хутору; замелькали засеянные, но местами жестко вытопанные, выбитые поля; выстрелы долетали все чаще и чаще, и, незаметно поднимаясь на отлогую могилу<sup>4</sup>, через которую вилась вдаль дорога, Маруся завидела какие-то палатки и шатры, над которыми вились клубы черного дыма и вырывались время от времени огненные языки красного пламени. Иногда по звонкому утреннему воздуху слабо доносились

---

<sup>4</sup> Могила – курган.

людские крики и стоны, чуть явственное жалобное мычанье домашних животных, и детский плач, и смешанный крик домашних птиц, и треск падающих развалин жилищ.

Поднявшись на самую вершину могилы, Маруся, как на ладони, увидела вдали место самой битвы. Она увидела пылающую деревню, две детские фигурки, бежавшие, схватившись руками, в испуге и ужасе, сами не зная куда, различила несколько неподвижно распростертых по степи женских фигур; на ее глазах падали люди со стоном, мчались испуганные лошади без седоков, редели свирепые отряды, устилалась земля трупами и ранеными, трава, смачиваясь теплою кровью, темнела. Небо принимало какой-то зловещий багровый оттенок. Пороховой дым ходил волнами.

А прямо перед нею зеленел и благоухал хуторок пана Кныша, и воз тихо к нему подвигался все ближе да ближе. В чашах густого сада уже обозначались разнородные деревья и кустарники с своими узорчатыми листьями и цветами; в открытые ворота она распознала темно-желтых, пестрых кур, расхаживающих по широкому двору, заросшему мягкой бархатистою муравою и преисполненному всевозможных хозяйственных орудий и снарядов; у ворот сидела громадная, косматая собака; она уже завидела подъезжающий воз и ждала его хладнокровно и бдительно, как особа, вдоволь уже повидавшая в жизни и давно взявшая себе за правило не спешить с выражениями своих чувств.

## ІХ

Только что воз остановился у ворот, как перед Марусею очутился орленкообразный мальчик лет пяти, румяный и мощный. Будь он вправду степным орленком, он и тогда не мог бы ни быстрее налететь, ни устремить на Марусю смелее взгляда, ни мгновеннее обозреть и ее, и воз, и волов.

- Дома пан Кныш, хлопчик? – спросила Маруся.
- А вы приехали к деду в гости? – спросил хлопчик вместо ответа.
- К деду; дома дед?
- Дома.
- Где ж он?
- Он в саду, а может, в хате, а может, на толоке.
- Покличь деда, хлопчик.

Но дед уже подходил к воротам.

Несколько сгорбленный, простодушный старичок в сельской полотняной одежде, в рубашке и в широких шароварах, в соломенной шляпе.

Он почтительно поклонился прибывшему к нему воину и тотчас же узнал Марусю, – и нисколько не показал удивления при ее виде, словно ее ждал, словно такое посещение было самым пустым и обычным делом.

– А, дивчина малая! – сказал он, – все ли здорова, все ли весела? Милости просим в хату, а коли в хате соскучишься, то вот Тарас знает, где водится земляника и где спеет малина. Можно тоже развлечься пампушками или маковниками. Тоже имеются пироги в запасе, – такие пироги, что утешат голодную душу.

Иван услышал слова маковники, пироги.

– У тебя, кажется, дом не без запасов? – промолвил он суровым голосом, но в котором уже звучала нотка, смягченная представившимися видениями пирогов и других яств.

– Благодарю моего Создателя! – отвечал хозяин, – милости прошу, пожалуйста в хату!

Что это за радушный, что это за простосердечный, что это за бесхитростный, казалось, был хозяин пан Кныш!

– Пожалуйста, дорогой гость... не ждал, а Бог и послал... и послал!.. Вот неожиданный, да зато дорогой гость... Пожалуйста, пожалуйста...

«Нежданный, но дорогой гость», усталый и голодный, отложил все разговоры и объяснения и пошел за хозяином, расправляя измученные члены, позевывая, почесываясь, одним словом, пользуясь редким случаем понежиться телом и духом, решив, бесспорно, что хозяин простак и добряк-мужик, и только заботясь о том, что это за пироги у него, что за яства и за пития.

Маруся въехала во двор и тоже пошла за ними, а за Марусею хлопчик Тарас.

– Пан Кныш! – сказала Маруся, – что за чудные зеленя у вас! Хоть и неспелыми их пожать, то все хорошо!

– Слава Богу, дивчинка, слава Богу! Нынешний год все хорошо уродило! – отвечал пан Кныш, не обертываясь.

И хоть бы сколько-нибудь дрогнул у него голос, или повысился, или понизился, хоть бы сколько-нибудь встрепенулась его фигура, ускорился или замедлился мелкий, спешный шаг, хоть бы крошку изменился в чем-нибудь его вид домовитого хозяина, немножко тщеславного своими пирогами, с тайным торжеством спешащего угостить и наперед уже лукаво усмехающегося при виде приятного изумления гостя на первом куске его яств, которые, казалось, ставил он выше всего на свете.

– Что же это? он не понял?

У Маруси страшно заныло серце; она не знала, что думать и как быть, и решила опять то же: быть как он.

Поэтому она больше ничего не сказала и вошла в хату.

Это была просторная, прохладная, снежно-белая хата, с широкими лавками, со столом под белой скатертью, с глиняным полом. На стенах местами висели пучки полуувядших душистых степных трав; в углу за образами, под белым рушником, тоже висели травы и мешались с сухими прошлогодними цветами, со свяченою вербою и зеленосвятковым зильем.<sup>5</sup>

Хозяин просил садиться и, по-видимому, единственно погруженный в заботы угощения, единственно поглощенный тщеславным желанием не ударить лицом в грязь и показать свое хозяйство в лучшем виде, суетился, собирая на стол, бегал в погреб, рылся в коморе, гремел посудой, ронял ложки, переливал какие-то бутылки, лазил под крышу за копченою колбасою и всеми этими усердными хлопотами держал в постоянном ожидании голодного гостя и обращал все его помыслы только на эти хлопоты и их лакомые последствия, внушая ему признательность, смешанную с досадой и нетерпением, которые, однако, не пересиливали ее.

– Да ты, хозяин, уж так не падай для меня! – говорил время от времени гость.

– Нельзя... нельзя... позвольте... позвольте, пан... как зовут вас, добродию? – отвечал усердный хозяин.

– Да меня зовут Иваном, – отвечал тот со вздохом и смиряясь.

– Уж позвольте, пане Иване, угостить вас, чем Бог послал. Уж позвольте!

– Мы люди военные, мы не сластоежки ведь – нам лишь бы сыт, и довольно! – в свою пользу старался внушить пан Иван.

– Нет, нет, уж вы позвольте! – отвечал хозяин.

Маруся сидела на лавке, стараясь быть как он, на вид спокойная и тихая, но такие приливы и отливы надежд и страхов она испытывала, что никто того рассказать словами не сможет, да и редко кто сможет себе вообразить.

Хлопчик Тарас, вволю наглядевшись из угла на гостей, смотрел в окно и считал явственно долетавшие до хутора выстрелы.

Наконец, завтрак был окончательно собран; пан Иван после долгого ожидания накинулся на него с некоторым враждебным чувством и с суровым видом воина, не ценящего наслаждений вкуса; но скоро, очень скоро, он как-то весь смягчился, даже проникся некоторым умилением, а после нескольких чарок разных наливок глаза у него посоловели и начала блуждать неопределенная улыбка на устах.

Хозяин время от времени припоминал о какой-нибудь новой, хранившейся у него сласти, и то ходил в погреб, то лазил под крышу, спрашивая наперед позволенья у пана Ивана.

А пан Иван уже не возражал, а только кивал ему головою в знак того, что ему это кажется хорошо и что он на все согласен.

– А ты что, Тарас, галок считаешь? – сказал хозяин внучку, – пошел бы ты да сена дал волам. Это у меня такой работник, что лучшего и не надо, даром, что еще не до неба дорос! – прибавил он, обращаясь к пану Ивану.

На это пан Иван хотел отвечать что-то серьезное, но серьезного не ответил, а только слабо и неопределенно улыбнулся.

Тарас сейчас же прыгнул с лавки и пошел к дверям.

Маруся не смогла выдержать муки, тоже встала и сказала:

– И я пойду с Тарасом.

– Иди, иди, малая, – ответил ей хозяин, и когда она проходила мимо него, он погладил ее по головке – только погладил по головке и словно каким волшебством возвратил ей уверенность и бодрость.

<sup>5</sup> Травы и цветы, которые святятся на Зеленые святки, т. е. на Троицын день.

– Хозяин! – вдруг сказал пан Иван, с отчаянным усилием собирая мысли и уясняя дело, – сено наше... взято сено в плен... давай выкуп... большой выкуп давай... это хорошо... очень хорошо...

– Ваша воля, пан Иван, – отвечал хозяин. – Хоть сено, хоть выкуп берите, ваша воля!

– Ну, это хорошо, – отвечал пан Иван. – Это... это хорошо...

## Х

Вышед во двор, Маруся увидела свой воз на прежнем месте; Тарас таскал из него охапками сено и подкладывал волам, а волы важно, с достоинством принимали должное угощение.

С тайным трепетом ходила Маруся около воза, стараясь угадать то, что ее мучило.

Долго она так кружила, как раненая птичка над заваленным гнездом; Тарас, сделав порученное ему дело, заговаривал с нею о том и о другом, но она отвечала ему кратко – все ее существо было поглощено заботою, тревогою и упованием.

Сообразив, что это круженье около воза может навлечь подозренье, она удалилась от него и стала бродить по широкому двору; она заглянула в густой сад, посмотрела вдаль на поле.

– Что делать? Что будет? – думала она.

Вдруг, проходя мимо груды камней, наваленной во дворе, она услышала голос, явственно промолвивший:

– Спасибо, Маруся малая! Не бойся ничего, все благополучно!

Она в то же мгновение узнала этот голос и, пораженная радостью, как стрелой, вдруг восхищенная и обессиленная внезапно отлетевшими муками и тревогами, зашаталась, чуть не упала и села на землю, не имея сил ступить дальше шагу.

Понемногу она пришла в себя и внимательно разглядела место; груда камней, у которой она сидела, видно, была навалена здесь очень давно, когда строился погреб, каменною отдушиною выходивший во двор, и камни, оставшиеся от постройки, с той поры, очевидно, не трогались, потому что они проросли травой и крапивою по всем извивчивым направлениям.

– Не ослышалась ли я? – подумала Маруся, вся замирая от томления.

Но голос, выходя из-под земли, прозвучал снова:

– Верная моя девочка! развесели свое сердечко! Переплыли мы самую быструю, на берегу, Бог даст, не потонем!

Маруся долго оставалась недвижима, все еще прислушиваясь. По его слову, как по волшебному веленью, сердце ее исполнилось живою радостью, и потому на лице заиграл такой яркий, счастливый румянец, очи так засияли и засветились, что Тарас, гарцовавший по дедовому двору, то в гордом виде гетманского коня, то в грозном виде самого гетмана, то в личине храбрых козацких вождей и полковников, то, наконец, разгоряченный представляемыми им прекрасными и славными ролями, необузданно предаваясь прыжкам и скачкам в собственном своем виде, очутившись перед чужою девочкой, поражен был преобразившею ее переменою, остановился перед нею в некотором недоумении и устремил на нее свои орлиные взгляды.

– Что ей дед дал? – подумал он. – Что?

Перед ним замелькали и заносились какие-то неясные виденья смачных маковников в меду, сластен, пряничных коней, каленых орехов и прочих благ. И чем больше глядел он на чужую девочку, тем виденья эти становились фантастичнее, заманчивее, а вместе с тем все более раздражали и волновали его. Недоумевающий, чающий, он стоял и глядел, более чем когда-либо подобный хищному орленку, расправившему крылья, наострившему клюв, зорко оглядывающему оком, в какую сторону лететь на добычу.

Он весь вздрогнул, когда Маруся заговорила:

– А что, хлопчику, пойдем, может, мы с тобою в садок?

– Пойдем, – отвечал он с некоторым колебанием, как человек, который еще не уверен, выиграет ли он от этого или проиграет. – А что дед дал?

– Кому? – спросила Маруся.

– Тебе?

– Ничего.

– Так пообещал? Что пообещал?

– Ничего.

Тарас поглядел на гостью пристально и недоверчиво.

– Чего ж так рада? – спросил он.

– Я?

Она хотела было сказать: «Я не рада», но не могла и сказала только:

– Пойдем в садок.

И они пошли в садок, и гуляли там, и рвали ягоды, и рассуждали о разных разностях.

Хлопец Тарас рассуждать был охотник; особенно рассуждать о том, как бы он то или другое устроил на месте пана гетмана, и уж конечно, не счесть никому, будь он хотя и звездочет, сколько на словах перекрутил он разнородной не виры, сколько городов обеспечил, сколько сел и деревень обогатил. Речи хлопца Тараса были заманчивы в этом случае, как мед; впрочем, глядя на него, можно было уверенно положить, что и дела его не будут польнью.

Я не знаю, много ли есть на свете вещей лучше прогулки по душистому, свежо благоухающему, густому саду, когда сердце играет и все ваше существо после жгучего ожидания и томительного сомненья точно смеется! Дай Бог погулять так всякому доброму человеку хоть один раз в жизни!

Так гуляла Маруся, следя за Тарасом по всем углам и закоулкам сада и толкуя с ним о том и о сем.

А Тарас, водя гостью по саду, угощая ее ягодами и занимая разговорами, все-таки, время от времени взглядывал на нее с сомнением и никак не мог отогнать от себя тех неясных, заманчивых видений таинственных маковников, бубликов, сластен и всяких других смаков, где-то близко сущих и являвшихся перед ним всякий раз, как только обращалось к нему сияющее личико гостью.

## ХІ

А солнце, между тем, высоко взошло, и сияло, и играло так, что нигде почти тени не было, а если где и отыскивалась, то все-таки ее как-нибудь да пронизывал, как-нибудь да пересекал, как-нибудь да задевал солнечный луч. Его теплый и яркий свет наискось пал в хатнее окно, под которым уснул насыщенный пан Иван, и, должно полагать, своею мягкостью и теплотою разбудил его, непривыкшего или даже уже отвыкшего от всякой мягкости и теплоты на белом свете.

Пан Иван хоть проснулся, но некоторое время не открывал глаз, а только вздыхал и как-то жалобно усмехался. Эта усмешка точно хотела сказать: ведь я знаю, что всей теперешней неги и след простынет, как только я открою глаза; ведь я знаю это и понимаю!

Но вдруг он вскочил, как обожженный, лицо приняло обычное равнодушно-суровое и даже несколько враждебное выражение, и, проворно оправляясь и собираясь, он недоброжелательно оглядывал белые стены, по которым играли веселые солнечные лучи.

Никого не было в хате; он крикнул громко и отрывисто:

– Эй, хозяин!

Зычен был голос у пана Ивана и раскатился по двору во все концы. Маруся и Тарас бросились к хате и, притаившись за цветущими кустами сирени и калины, ожидали, что будет.

Все было тихо кругом, и ничего не было слышно, кроме шума и движения летнего погожего дня.

Пан Иван крикнул снова, громче и отрывистее прежнего:

– Эй, хозяин! Али уши заложило?

И совсем прибравшись в дорогу, в шапке и прилаживая половче пику, пан Иван толкнул хатнюю дверь каблуком сапога, распахнул ее настежь и приостановился, не зная, куда лучше итти: сени были сквозные, и с обеих сторон по мураве разбегались тропинки, и там и сям стояли разные сельские снаряды. С третьей стороны полуотворена была дверь в светлицу.

Но уже слышался приветливый голос хозяина в ответ на зов, голос, прерываемый легким, вовсе не неприятным кашлем и быстрою спешною походкою.

– Иду, пане Иване, иду! – приветливо и радушно звучало издали.

Но пан Иван никак не мог уловить, откуда голос приближался, и понапрасну, повертев шею туда и сюда, нетерпеливо двинулся в какую дверь попало и лицом к лицу сошелся с ласковым и запыхавшимся хозяином.

– Хорошо ли отдохнули, пане Иване? – спросил хозяин, участливо и простодушно глядя в недовольные глаза гостя. – Не кусали мухи?

– Черт с ними, хоть бы и кусали! – отвечал пан Иван, чувствовавший себя что-то неладно после отдыха и сна.

– Конечно, прах им, пане Иване, конечно, – отвечал хозяин, охотно присоединяясь к выраженному мнению гостя, и между тем, как гость на минуту призадумался, сурово и раздражительно покручивая усы, он тоже, подумав с минутку, прибавил:

– Однако, скажу вам, часом в самый этак смак любого сна, обидно бывает доброму человеку от этой дряни...

– От какой? – спросил пан Иван, выходя из задумчивости.

– А от мух-то, добродию. Подумаешь, что добрый человек им слаще меду иной раз...

– Голова болит, – перервал сурово пан Иван словоохотливого, хозяина. – Ты лучше чарку водки поднеси, чем попусту калякать...

– Пожалуйста, пожалуйста, пане Иване, – подхватил хозяин, заторопившись с таким довольством, словно ему село с угодьями подарили.

И мелким радостным шажком он пробежал вперед пана Ивана в хату, а пан Иван вступил за ним следом, сохраняя все тот же суровый и раздраженный вид, но уже поглаживая и расправляя щетинистые усы.

– Садитесь, пане Иване, а я сейчас чарочку напільню, – говорил хозяин, сується по хате.

– Некогда садиться, – отвечал, не смягчаясь, пан Иван, – давай скорее, я так, на ходу, хлебну. Да деньги у тебя готовы? Мне мешкать не приходится...

– Жалко, страх как жалко, что такой вам спех, пане Иване, – промолвил хозяин. – Такую горелку пить бы, да смаковать, скажу нелестно...

– А деньги готовы? – спросил пан Иван.

– Готовы, пане Иване, хоть и тяжельнюк нашему брату.

Тут хозяин вздохнул и меланхолично поглядел на вынутый из кармана кошелек, а потом на пана Ивана.

– Толковать об этом нечего, – возразил пан Иван, успевший проглотить огромную чарку водки, словно ягоду.

Хозяин покорился с новым вздохом и больше не толковал, молча вынул гроши, гривны и стал их на все стороны обертывать, разглядывать, а потом принялся шепотом считать.

– Ты до трех-то сочтешь или не сила твоя? – спросил пан Иван, но не очень сердито, потому что, спрашивая, наливал вторую чарку горелки и спросил больше насмешливо, даже игриво. – Ты как считаешь-то?

– А я все копами считаю, пане Иване, – отвечал хозяин – пять, шесть... нет лучше счета, как копами... семь, восемь... батько покойный отроду не ошибался... девять... и ни один жид его не сбил... одиннадцать... а уж известно, что жида...

– Жида первые в свете христовопродавцы! – рассеянно перебил пан Иван и, налив третью чарку, выпил ее и некоторое время смирно и безмолвно слушал суждения хозяина о нравах жидов, перерываемые счетом грошей, устанавливаемых кучками на столе.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.